



## **П. А. ВЯЗЕМСКИЙ**

### **Отметки при чтении «Исторического похвального слова Екатерине II», написанного Карамзиным**

Не знаю, пришла ли кому-нибудь в России мысль прочесть пред 24-м числом ноября истекшего года<sup>1</sup> «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II»<sup>2</sup>, написанное Карамзиным тому без малого три четверти века. Но мне на чужбине<sup>3</sup> запала эта мысль и в ум, и в сердце. Лишенный радости присутствовать на екатерининском и всенародном празднестве, которое в минувшем ноябре торжествовал Петербург при сочувствии всей России, я хотел по крайней мере поклониться Екатерине в частном и скромном памятнике, воздвигнутом ей литературным ваятелем, художником мысли и слова.

Похвальные слова вышли ныне, как и многое другое, из употребления, но было время, когда, особенно во Франции, были они живою и уважаемую отраслью литературы; теперь место их занимают биографии и монографии. Впрочем, дело не в форме, не в покрое, не в оболочке. Формы видоизменяются более наружно, чем существенно: иногда старые формы вовсе разбиваются; но содержание, но истинно жизненное остается неприкосновенным, если при рождении своем восприняло оно отпечаток и залог жизни и обладает внутреннею ценностью. При этих условиях, несмотря на новые требования, на прихотливость своенравного и самовластительного вкуса, одним словом, несмотря на то, что можно бы назвать нравственною, духовною модою, совместницею моды материальной, всякое умственное произведение, будь то книга, картина и тому подобное, имеет свою внутреннюю жизнь: мысль, чувства, одушевляющие это произведение, переживают время свое и не утрачивают достоинства своего. Сапфир все тот же сапфир, хотя и в старинной оправе. Ценители внутреннего значения не пожертвуют им из пристрастия к внешней отделке. Напротив, истинные художники, совестливые поклонники искусства, часто до-

рожат этим отпечатком старины. Не только приятно, но даже и нужно время от времени освежать свой вкус подобными отступлениями от воззрений и обычаев настоящего. Чувство пресыщается и окончательно притупляется, когда оно исключительно обращено на однообразие текущего и на господствующие приемы и краски того или другого дня.

В отношении к литературе особенно полезно и отрадно возвращаться без пристрастия и без приговора заранее замышленного, к источникам, которые некогда утоляли и прохлаждали нашу нравственную и умственную жажду.

Творение Карамзина, о котором идет речь, возбудило в нас желание сказать о нем несколько слов. Оно не просто образцовое произведение искусства; оно сверх того может удовлетворить тройким требованиям: в отношении историческом, гражданском и общежитейском. Во всех этих видах носит оно отпечаток и знаменье времени своего и вместе с тем верный и глубокий отпечаток личности самого автора.

<...>

Благие начала, введенные Екатериною в государственном и общественном устройстве, не могли не отозваться в литературе нашей. Карамзину предоставляется честь, что он из первых и с большим успехом проникнут был миротворительным влиянием нового дня, восшедшего над Россией. Под этим влиянием перенес он литературу на почву новую и всем более доступную. Карамзину вообще, как приверженцами, так равно и противниками, приписывается, что он преобразовал общеупотребительный язык, раскрыл в этом орудии мысли новые качества и способности: плод этих изысканий проявил он в первых произведениях своих. Но главное достоинство его не в материальном преобразовании речи нашей, как ни велика и эта заслуга: основное, зиждительное достоинство его выражается в том, что он наваял новый дух на литературу нашу, оживил ее новыми побуждениями и направлениями, нравственно согрел ее, приблизил ее к обществу и его сблизил с нею. Тут прямо выказываются влияния Екатерининского времени. За сближением общества с правительством и силою законодательною неминуемо, логически должно было следовать и общественное сближение с литературою, которая и должна быть выражением общества. До него литература была власть довольно суровая, мало общительная; она была сама по себе, общество само по себе. Ей поклонялись издали, уважали и чествовали ее суеверно, но равнодушно. С ним литература сделалась живою частью общества, членом общей народной семьи. И прежде, даже и ныне, были

и встречались люди, которые смеялись и смеются над так называемой *сентиментальностью* его. Во-первых, эта способность умиления, это сочувствие любви к явлениям природы, к человеку, эта, пожалуй, нервическая чуткость и чувствительность были в нем не привитые, незаимствованные: они были вполне самородные. Эти природные личные склонности и расположения могли иногда влечь за собою свои частные временные недостатки и уклончивости. Но вместе с тем были они чистым и обильным источником живой впечатлительности его, глубокой любви ко всему прекрасному и доброму, силы ощущений и увлекательной способности живо выражать ощущения и чувства свои и передавать их другим. К тому же эта *сентиментальность* была в нашей литературе не только позволительна, но совершенно уместна и своевременна. Она была сильным и радикальным противудействием литературы чрезмерно бесстрастной и несколько сухой и безжизненной. Мягкость, мягкосердечие, проявившееся в литературе нашей под пером Карамзина, были, без сомнения, плодом царствования Екатерины. «Письма русского путешественника» и многие другие произведения его, не исключая даже и «Бедной Лизы», носили отпечаток этого мягкого и благорастворенного времени. Влияние его еще сильнее и явственнее выражается в «Историческом похвальном слове». Оно зрелый и сочный плод, снятый прямо с дерева. В полном сознании и с живейшим чувством Карамзин, приступая к изображению Екатерины, мог воскликнуть: «Благодарность и усердие есть моя слава. Я жил под ее скипетром, и я был счастлив ее правлением и буду говорить о ней!»<sup>4</sup>

<...>

Карамзин был в самом деле душою республиканец, а головою монархист<sup>5</sup>. Первым был он по чувству своему, горячим преданиям юношества и духовной своей независимости; вторым сделался он вследствие изучения истории и с нею приобретенной опытности. Говоря нынешним языком, скажем: как человек он был либерал, как гражданин был он консерватор. Таковым он был и у себя дома и в кабинете Александра. Заметим мимоходом, что в этом кабинете нужно было иметь некоторую долю независимости и смелости, чтобы оставаться консерватором.

<...>

Многие обвиняют Карамзина в пристрастной приверженности к крепостному помещицкому праву. Мы сейчас видели, как сильно восстает он против злоупотреблений этого права, не обвиняясь позорит он злых помещиков клеймом гнусного тиранства. Как человек, он, без сомнения, в душе своей за уничтоже-

ние крепостного состояния, которое влечет за собою ужасы, им упоминаемые; как политик, как публицист, он мог думать, что время для этого уничтожения еще не настало. Он не доктринер, готовый принести все в жертву единственно для торжества принципа. Он мог ошибаться по части политической экономии, мог опасаться гибельных последствий, которые могли и не осуществиться. Это дело другое; публицист не обязан быть пророком; довольно и того, если правильно судит он о настоящем: взвешивает выгоды и невыгоды вопроса, суждению его подлежащего, и приходит к заключению по совести своей и по своему разумению. Чтобы о действиях человека и писателя (а писания его — тоже действия) судить беспристрастно и правильно, нужно всегда принимать в соображение эпоху, ему современную, и, так сказать, внутреннюю среду умственного и нравственного положения его. Всякая картина, для прямого действия ее на зрителя, требует, чтобы выставлена была она в приличном и свойственном ей свете. Карамзин писал записку свою «О древней и новой России» в то самое время, когда над Европою, особенно над Россиею, висела шпага Дамоклеса, т. е. Наполеона, уже поразившая две трети Европы. Карамзину могло казаться неудобным крутыми преобразованиями и мерами делать в то время опыты над Россиею, т. е. ломать, уничтожать живые силы, которыми так или иначе держалась она, и создать наскоро новые, еще неизвестные силы, которые, во всяком случае, не успели бы перед подходящею грозою достаточно развиться и окрепнуть. С другой стороны, он уже посвятил несколько лет трудолюбивой жизни своей на воссоздание истории глубоко и пламенно любимого им отечества. Он шаг за шагом, столетие за столетием, событие за событием следил за возрастанием и непрерывно мужающим могуществом государства. Не мог же он не прийти к тому заключению и убеждению, что, несмотря на частые, прискорбные и предосудительные явления, все же находились в этом развитии, в этом устоявшемся складе и порядке, многие зародыши силы и живучести. Без того не удержалась бы Россия. Он полюбил Россию, какую сложилась она и выросла. И это очень натурально. Вот вдохновение и основы консерватизма его. Либералу, т. е. тому, что называют либералом, трудно быть хорошим историком. Либерал смотрит вперед и требует нового: он презирает минувшее. Историк должен возлюбить это минувшее, не суеверною, но родственною любовью. Анатомировать бытописание, как охладевший труп, из одной любви к анатомии, истории, есть труд неблагодарный и бесполезный.

В доказательство того, что Карамзин не был политическим старовером, приведем следующие строки из похвального слова: «Я означил только главные действия Екатерины, действия уже явные, но еще многие хранятся в урне будущего, или в начале своем менее приметны для наблюдателя. Оно, необходимо просвещая народы, окажется тем благодетельнее в следствиях, чем народ будет просвещеннее».

Следовательно, Карамзин не замыкал народ в известных и не перешагиваемых гранях: он ни граждан не закреплял к неизменному веку строю, ни земледельцев не закреплял вечно к земле. Он понимал, что тем и другим должно прорубить новые просеки, раскрывая новые горизонты, но под одним условием, а именно *Просвещения*. В этом слове заключается все.

<...>

Вопрос о *народных училищах*, который теперь на очереди во многих государствах, у нас был уже угадан и, по возможности, разрабатываем предусмотрительным и просвещеннолюбивым умом Екатерины. Карамзин также в похвальном слове обращает на него особенное и сочувственное внимание. Но сей вопрос, по-видимому, не из тех, которые легко поддаются соображениям и предначертаниям власти и требованиям принципов и умозрительности. Вопрос сей, если и подвинулся со времен Екатерины, то все же медленно и находится все еще разве на полудороге. <...>

Как бы то ни было, слова Карамзина еще не устарели, пережитые действительностью. Пора действительности еще не настала; читая его, можно думать, что читаешь страницу из вчера вышедшей книжки русского журнала.

Говорить ли о языке и слоге похвального слова? Казалось бы, это было бы и лишним. А впрочем, в наше время именно может быть и не совершенно неуместным сказать о том несколько слов. Правильность, ясность, свободное, но вместе с тем последовательное и, так сказать, *образумленное* течение речи, искусство ставить каждое слово именно там, где ему быть надлежит и где оно выразительнее, — все это является здесь в изящном порядке и полной силе. Трезвость слога не влечет за собой сухости. Некоторые ораторские приемы, свойственные вообще похвальному слову, не заносятся до высокопарности. Все живо, но мерно, все одушевлено ясною мыслью и теплым чувством. Мы уже намекали, что будущий историк угадывается в некоторых местах разбираемого нами произведения<sup>6</sup>. Ныне, прочитав все похвальное слово, скажем, что оно в полном объеме есть, так сказать, проба пера, которое автор готов исключительно

посвятить истории. Слог, то есть то, что прежде называли слогом, есть ныне слово и понятие, утратившее значение свое. Одни литературные старообрядцы обращают внимание на него. В наш скороспешный и скороспелый век, в век железных дорог, паровых сил, телеграфов, фотографий, мало заботятся об отделке. Все торопит и все торопятся — это хорошо! Жизнь коротка: почему же не удешевить ценность и значение времени, если есть на то возможность? Но искусство терпит от той усиленной гонки за добычею: искусство нуждается в труде, труд требует усидчивости, а мы и трудиться и сидеть разучились. Редко кто наложит на себя обузу и епитимью просидеть несколько дней и по несколько часов сряду, хотя бы перед фан-Дейком<sup>7</sup> или Брюлловым, чтобы иметь портрет свой во весь рост. Мы все бежим по соседству к ближайшему фотографу, который дело свое покончит в пять минут.

Посмотрите на черновые листы Карамзина и Пушкина: они, казалось бы, писали легко и от избытка вдохновения и сил, а между тем тетради перечеркнуты, перемараны вдоль и поперек. Тот и другой перепробует иногда три-четыре слова, прежде нежели попадет на слово настоящее, которое выразит вполне мысль, со всеми ее оттенками. — Да это египетская работа! — скажут мне. Так; но египетские работы воздвигали пирамиды, переживающие тысячелетия. Правила, искусство, вкус зодчества изменились с течением времени; но любознательность и просвещенные путешественники со всех концов мира съезжаются к этим пирамидам изучать их и любоваться ими. Слог есть оправа мысли и души, он придает ей форму, блеск и жизнь. Недаром сказано, что в слогѣ выдается весь человек: каков человек, таков и слог его. В прозе Жуковский и Пушкин принадлежали школе Карамзина; но слог Жуковского не есть слог Карамзина, а слог Пушкина не есть слог Жуковского. Слог дает разнообразие и разнохарактерность таланту и выражению. Слогом живет литература. Где или когда нет слога, нет и литературы.

Если есть музыка будущего<sup>8</sup>, то можно сказать о языке Карамзина, что это музыка минувшего. Между тем этот язык не устарел, как не устарела музыка Моцарта. Могли оказаться изменения, то к лучшему, то к худшему; но диапазон все-таки остается верным и образцовым. При начале литературного поприща Карамзина обвиняли его в галлицизмах. Мы давно где-то сказали<sup>9</sup>, что критики его ошибались. Галлицизмы его были необходимые европеизмы. Никакой язык, никакая литература совершенно избежать их не могут. Есть денежные знаки, которые везде пользуются свободным обращением: червонец везде червонец. Так бывает и с иными словами и оборотами. Есть

лингвистические завоевания, которые нужны, а потому и законны. Но есть лингвистические переряжения, пестрые заплатки, которые вшиваются в народное платье. Эти смешны и только портят основную ткань.

Чтобы показать то, что мы разумеем под слогом и под искусством писать, выберем из многих мест одно, например, следующее:

«Геройская ревность к добру соединялась в Екатерине с редким прониканием, которое представляло ей всякое дело, всякое начинание в самых дальнейших следствиях, и потому ее воля и решение были всегда непоколебимы. Она знала Россию, как только одни чрезвычайные умы могут знать государство и народы; знала даже меру своим благодеяниям; ибо самое добро в философическом смысле может быть вредно в политике, как скоро оно несоразмерно с гражданским состоянием народа. Истина печальная, но опытом доказанная! Так, самое пламенное желание осчастливить народ может родить бедствия, если оно не следует правилам осторожного благоразумия сограждан! Я напому вам монарха, ревностного к общему благу, действительно, неутомимого, который пылал страстию человеколюбия, хотел уничтожить вдруг все злоупотребления, сделать вдруг все добро, но который ни в чем не имел успеха и при конце жизни своей видел с горестью, что он государство свое не приблизил к цели политического совершенства, а удалил от нее: ибо преемнику для восстановления порядка надлежало все новости его уничтожить. Вы уже мысленно наименовали Иосифа<sup>10</sup> — сего несчастного государя, достойного, по его благим намерениям, лучшей доли! Он служит тению, от которой мудрость Екатерины тем лучезарнее сияет. Он был несчастлив во всех предприятиях — она во всем счастлива; он с каждым шагом вперед отступал назад — она непрерывными шагами шла к своему великому предмету, писала уставы на мраморе неизгладимыми буквами, творила вовремя и потому для вечности и потому никогда дел своих не переделывала»<sup>11</sup>.

Здесь нельзя ни единого слова ни прибавить, ни убавить, ни переставить; но и еще пример:

«Европа удивлялась счастью Екатерины. Европа справедлива, ибо мудрость есть редкое счастье; но кто думает, что темный, неизъяснимый случай решит судьбу государств, а не разумная или безрассудная система правления, тот по крайней мере не должен писать истории народов. Нет, нет! феномен монархии, которой все войны были завоеваниями и все уставы счастьем империи, изъясняется только соединением великих свойств ума и души».

Все это так просто и ясно сказано, что читатель, не посвященный в таинства искусства, может подумать, что и каждый сумел бы так изъясниться; но дело в том, что кроме здоровой мысли здесь есть еще и здоровое выражение, плод многих и обдуманных изучений языка и свойства его.

При всей изящности языка и самого изложения должны, разумеется, встретиться в похвальном слове прикрасы чеканки, некоторые, так сказать, литературные чинквеченто, ныне для нас странные и обветшалые. Например:

«Чтобы утвердить славу мужественного, смелого, грозного Петра, должна через сорок лет после его царствовать Екатерина; чтобы предуготовить славу кроткой, человеколюбивой, просвещенной Екатерины, долженствовал царствовать Петр; так сильные порывы благодетельного ветра волнуют весеннюю атмосферу, чтобы рассеять хладные остатки зимних паров и приготовить натуру к теплomu влиянию зефиров!»

Мы теперь готовы отрещиваться от этого *зефира*, от этого языческого наваждения. Но в то время *зефиры* со всей братьею, со всеми сестрами своими были добрыми домовыми литературы; и писатели, и читатели дружелюбно уживались с ними. Укорять Карамзина, что и он знался с ними и говорил, например, в другом месте: «Земледельцы, сельскою добродетелию от кнута на ступени *Фемидина храма* возведенные» и проч.; укорять его в сих баснословных приемах то же, что сказать: Карамзин, говорят, был пригож в своей молодости, но жаль, что он имел несчастную привычку пудрить волоса свои. А между тем все пудрились.

<...>

Каждый век, почти каждое поколение имеют свою критику, свое литературное законодательство. Ныне, если дело пойдет на сравнение, мы почерпаем его в науках точных, в медицине, в реальном производстве, в механике, в фабричной промышленности. Все идеальное забраковано, заклеячено печатью отвержения. Но неужели думать нам, что и мы, по выражению Карамзина, творим во время, а потому для вечности? Едва ли. Как мы многое отвергли из того, что перешло к нам от дедов, так и 20-й век, который уже не за горами, вероятно, отвергнет многое, чем мы ныне так щеголяем и гордимся. Нынешние, страстные нововводители будут в глазах внуков наших запоздалые старобрядцы. Как знать? Может быть, внуки наши, если помянут старину, то перескочат через наше поколение и возобновят прерванную связь с поколениями, которые нам предшествовали. <...>

